

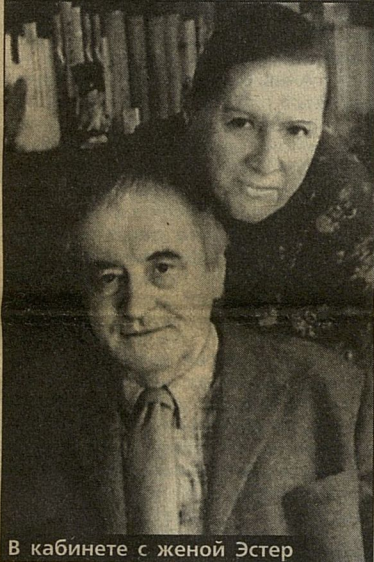
эстер катаева: когда попросила мужа

Иногда кажется, что Катаев был давным-давно, в другой жизни. Когда еще и критерии существования, и претензии к литературе были другие. Трудно представить себе появление подобного мастера сегодня — и еще труднее понять, как эта бесспорная классика могла при своем появлении порождать такие бури, вплоть до упреков в полной бездарности.

Позднего Катаева я стал читать раньше, чем классического, — в доме выписывали «Новый мир», и «Алмазный мой венец» я прочел в десять лет, еще до того, как в пятом классе прошли «Белеет парус одинокий». Так что хрестоматийным и скучным автором он не был для меня ни секунды. Раскрепощенная, поздняя его манера (другому, боюсь, ничего подобного не позволили бы — да у другого и пороку бы не хватило) на фоне тогдашней прозы, да и жизни, выглядела открытием. Он надолго стал моим любимым писателем, и его фрагментарные, сновидческие сочинения, с волшебной отчетливостью описаний, стихами в строчку и невыносимой тоской по уходящему времени, — раз и навсегда доказали мне, что традиционному реализму в конце двадцатого века делать нечего.



Валентин Катаев (слева) с супругой и скрипачом Коганом в консерватории



В кабинете с женой Эстер

Но все это было тогда. Когда и общая планка русской прозы была несколько выше, и отношение к этой прозе несколько серьезнее. Катаев умер в самом начале перестройки, не оставив, по сути, ни учеников, ни продолжателей. Его столетие в 1997 году еле заметили. Правда, «Вагриус» переиздал «Венец» (оттуда я и взял фотографию). Не реже раза в месяц открывая эту книгу, я все больше убеждался, что и описываемая эпоха, и сам Катаев, столь недавно живой и спорный, навеки отошли в область предания. Тем страннее мне было узнать, что его вдова — Эстер Катаева, женщина его жизни, которой посвящен тот самый «Парус», — до сих пор живет в его переделкинском доме, с ней можно увидеться, говорить...

С годами все меньше любил Одессу

Я хочу это сделать без всякого календарного повода. И все же вот, на выбор: в этом году исполнилось 90 лет с тех пор, как одесский гимназист Валя Катаев начал писать стихи, в будущем исполнится 65 лет повести «Белеет парус одинокий» — единственной детской книге тридцатых, кроме разве что гайдаровской прозы, которая сегодня жива и по-прежнему притягательна. 70 лет назад Катаев познакомился со своей женой, нашей сегодняшней собеседницей. А 15 лет назад вышло из печати последнее катаевское собрание сочинений — других с тех пор не было. А напрасно.

В разговоре участвует дочь Катаева — Евгения Валентиновна, живущая в Переделкино вместе с матерью.

— Эстер Давыдовна, скажу честно — мне очень странно с вами говорить. Катаев — уже классик, он где-то очень далеко, а вы... вот.

Э.К. Точно так же мне было странно смотреть на него с самого

начала. Он был весь не отсюда. Не то что теперь, но и тогда, во времена нашего знакомства. Он был необыкновенно красив, рыцарствен, галантен, а главное — в каждую минуту интересен. Мы познакомились почти случайно: у моей подруги был роман с Кольцовым, а Катаев с ним дружил еще с двадцатых. Была назначена какая-то встреча, и когда я еще только подходила к ним, он — сам мне потом про это рассказывал — неожиданно для себя сказал: «Вот бы мне такую жену!» Через год мы съехались, еще через два — поженились.

— Он был вас старше на...

— На шестнадцать лет. И конечно, я всю жизнь смотрела ему в рот. Но никакого высокомерия — напротив. Он со мной советовался, каждый вечер читал написанное, да что вечер — иногда мог позвать на весь дом, просто если написал удачную фразу. «Э-эста!» — и я бежала слушать. Мне и «Парус» посвящен, я думаю, только потому, что я в тридцать четвертом почти безвыходно сидела дома, беременная Женей, а он рядом — писал. Писал эту вещь весь тридцать пятый год, а в тридцать шестом она увидела свет. Как раз в это время наша маленькая квартира в Лаврушинском, которую он купил сам, стала нам тесна, и он обратился к крупному писателю-начальнику, который как раз вел распределение жилищной очереди. «А что вы за писатель? Я такого не знаю!» Валя оставил ему «Белеет парус», он прочел и сам позвонил: «Да, вы, оказывается, действительно писатель»... Это, я думаю, высший комплимент: если уж начальника пробрало...

— Как странно, что он женился не на одесситке...

— Нет, на коренной москвичке. Но знаете — он с годами все меньше любил Одессу. Конечно, когда мы приехали туда в первый раз, он показал мне все, рассказывал про детство, про родителей, про девушек, в которых был влюблен, — но город все меньше походил на Одессу его детства. Происходила какая-то принудительная его советизация. Потом, ему по статусу приходилось встречаться с городским начальством, а он этого не переносил. Впрочем, ему и Москва в последние тридцать лет не нравилась — он все время жил в Переделкино. Здесь написана вся поздняя проза.

— А с кем из литературных друзей он вас познакомил?

— Практически со всеми, ведь дом был всегда полон, он обожал гостей. Причем большинство друзей были в опале, но он никогда не обращал на это внимания. Больше того — за всех пытался просить, когда взяли Мандельштама — писал Сталину... Кажется, наша квартира была единственной, где тогда ждали в гости Мандельштамов.

Казалось, если не буду спать, его не арестуют

— Да, это есть даже в воспоминаниях его жены. Хотя там вообще мало о ком сказано доброе слово.

— Более того: я знаю свою вину перед Мандельштамом, хотя считаю, что меня можно понять... Валя не простил — месяц со мной не разговаривал. Он обожал Мандельштама, чуть не всего его знал наизусть, называл великим поэтом — я же, честно сказать, его недолюбливала. Высокомерная посадка головы, страшная нервность, путаный, комканный разговор, обида на всех... С ним было очень трудно. Но бывать у нас он любил (и после ссылки, когда ему нигде было жить в Москве, и раньше, еще до первого ареста). Часто прибегал читать Вале новые стихи.

Понимаю, поэту это всегда нужно — Валя тоже меня будил, когда писал новую вещь. Он долго продолжал писать стихи и в душе, думаю, считал себя поэтом, — и Асеев, и сам Мандельштам относились к нему именно так.

И вот однажды Мандельштам приходит к нам, Вали нет дома, — это его сердит, раздражает, он начинает метаться по квартире, хватает газету, ругает Сталина: «Сталинские штучки, сталинские штучки...» А у меня в это время сидит гостья, не сказать чтобы слишком доброжелательная. Я спокойно ему сказала, что очень прошу в моем доме не произносить ничего подобного. Я страшно боялась — не столько за себя, сколько за мужа. Катаев-то не боялся — или, по крайней мере, не показывал виду... Он держался замечательно. Думаю, рано или поздно его взяли бы обязательно, просто берегли для очередного большого процесса. Так вот, Мандельштам тогда обиделся и выбежал, а свидетельница этой сцены долго еще меня шантажировала — помните, как у вас дома шел такой-то разговор... Не помню, отвечала я. Но на всю жизнь запомнила — главным образом, гнев мужа. Он и после воронежской ссылки помогал Мандельштаму чем мог. И Бабелю пытался помочь... Впрочем, Бабель — отдельная история.

Когда родилась Женя (ее так называли в честь Валиной матери, которую он всю жизнь боготворил, в ее же честь был назван и брат Женя, будущий Евгений Петров), — Бабель приходил, кажется, не столько ради Вали, сколько ради нее. Едва она начала говорить, у нее была такая прелестная французская картавость — его это умиляло необыкновенно, он приносил игрушки... Много рассказывал о том, как бывает в семье Ежова: самого ругал, его жену хвалил — она интересовалась литературой и вообще, кажется, была к Бабелю расположена.

— У них был роман.

— Об этом не знаю. Но если бы она не отравилась... или не была отравлена... может, уцелел бы и Бабель? Мне кажется, он не писал в последние годы. Во всяком случае, гово-



Всем видам отдыха предпочитал пешие прогулки

рил, что не пишется. В ночь перед арестом он собирался заночевать у нас на даче, что была на Клязьме. Но потом все-таки уехал к жене и дочери в Переделкино, и там его взяли. Сталин же, говорили, специально построил Переделкино, чтобы всех писателей собрать в одном месте. Гораздо удобнее отлавливать... А если бы Бабель остался у нас — повернуться могло по-всякому: иногда, не застав человека дома, его надолго оставляли в покое — хватало других дел... А у нас на Клязьме его бы никто не нашел.

Я была тогда почти уверена, что Вале не спастись. Думаю, его не отдал Фадеев. Он однажды сказал моей матери, что Катаева возмущают только вместе с ним.

Е.К. Отец заступался и за Зошенко. Потом говорили, что он будто бы оставил Зошенко в беде... Что знают эти люди, как они смеют? Я помню, как отец возил меня в Ленинград сразу после постановления сорок шестого года против Зошенко, помню, как они виделись, как вместе водили меня в «Норд»... Отец старался помочь всем. А я боялась за него лет с четырех, сколько себя помню. Я же знала, что люди исчезают, что по ночам за ними приезжают машины. Казалось, если не буду спать, отца не возьмут.

После ухода из «Юности» сразу начал писать днями напролет

— Кстати, чем вообще был вызван такой критический шквал против «Венца»? Писали и говорили, что он чуть ли не надругался над друзьями юности... Да, по-моему, он памятник им поставил!

Е.К. Раздражало, что он написал о Маяковском, Есенине и Булгакове как равным... Но ведь сегодня ясно, что он имел на это право, право дружить, любить!

А тогда, конечно, каждую его новую вещь встречали либо настроенным молчанием, либо разномолчанием. Он еще своим редакторством в «Юности» успел многих восстановить против себя, потому что печатал молодых и талантливых, а бездарных и официозных разносил. Но вообще «поздний Катаев» — это даже для меня было настолько непривычно... Я помню, сделавшись снова «выездным» (он ведь с середины тридцатых почти нигде не ездил), отец году в пятьдесят седьмом поехал в Варшаву. Там и начал записывать куски новой книги — один, в гостинице. Вернувшись, на вопросы «как там Польша?» ответил очень бегло и еще в машине сказал: «А я вот начал писать новую книгу и сам еще не понимаю, что это такое». Это и было начало «Святого колодца», название которого, кстати, придумала я — он не мог выбрать из нескольких вариантов. И когда он, собрав по обыкновению нас всех, прочел эти отрывки — я только большим усилием воли сумела себя убедить, что отец — как ни крути, безусловно крупный писатель, — знает, что делает. Журнал «Москва» эту вещь печатать отказался, она стала ходить по Москве в рукописях, порождая толки. Причиной же отказа было то, что тот самый подхалим и прилипала, который изображен в повести, оказался очень уж узнаваем. Между тем это был — да и есть, он жив, — крупный тогдашний функционер. Главным претяствием было то, что отец сравнил его с белугой: он действительно страшно похож. Ну что ж, сказал отец, не хотите рыбу — пусть будет птица. Дя-

МАНДЕЛЬШТАМА ЗАМОЛЧАТЬ, МЕСЯЦ СО МНОЮ РАЗГОВАРИВАЛ

тел. Тем более он стучит.

Не подумайте, что я задним числом делаю из отца диссидента. Он категорически отказывался публиковать новые вещи за границей до их выхода в России. И вообще, я думаю, не то чтобы он был антисоветски или просоветски настроен, — но его это как-то мало заботило. Лишь бы писать давали. У него не было никаких других хобби, занятий, интересов — только литература.

Э.К. Но когда уезжали его любимцы — Гладили, Аксенов, — он плакал. Кстати, все они были частыми гостями в нашем доме. Валя любил, например, и Евтушенко (в чьих воспоминаниях о нем есть вымысел), и Вознесенского, но в них довольно быстро разочаровался. А вот в Аксенове — нет. «От этого я много жду», — говорил он. И не ошибся. Кстати, увидеть Аксенова сейчас я была бы очень рада...

— Интересно, а почему он ушел из «Юности»? Вынудили!

Э.К. Совсем наоборот — вынуждали остаться. Хрущев никак не хотел его отпускать, именно Катаев был ему нужен в журнале — как-никак первый редактор... А Вале надоело биться с цензурой за каждую вещь, решать проблемы с бумагой — он хотел писать, в нем так и клокотало все... В конце концов ему эта журнальная лямка надоела, и он просто перестал приезжать на работу. Но и тогда его целый год числили главным редактором, пока не поняли, что он ушел из журнала бесповоротно.

— А внешне этот перелом на нем как-то отразился?

Э.К. Безусловно. Во-первых, он не писал довольно долго — почти с самой войны, с «Сына полка» и «Катакомб». Ясно было, что напечатать ничего не дадут, и атмосфера была настолько гнетущая, что он замолчал. А тут — я помню, как он преобразился, как стал сутками работать, причем отвлекать его не могло ничто. Он вообще, когда бывал поглощен серьезной работой, ни на что не обращал внимания — мы с братом могли играть у него под столом, он писал... Всегда от руки, гелевой ручкой, — теперь такие стоят три рубля на каждом углу, а тогда он привозил их из-за границы или разыскивал в Москве.

Кроме того, он тогда же бросил пить — навсегда, сразу. Курить тоже — до этого изводил в день по две пачки. Стал бодрей, даже выше

как будто — хотя он и так был в отличной физической форме.

Бунин никак не мог поверить, что у Вали двое взрослых детей

— А правда ли, что он называл вас с братом «шакалом и гиеной»?

Э.К. Многие не верят, вообще удивляются — как это он дал детям такие прозвища? Но ведь это все шутя, он все время играл и выдумывал что-то, — а как он любил нас! Это не выражается никакими словами, да и не нуждалось ни в каких словах. Мы могли с ним два часа гулять здесь и не сказать друг другу ни слова, но все это было очень интенсивное общение...

— Скажите, Переделкино очень изменилось с катаевских времен! Ведь вы живете здесь постоянно — как вам не страшно, например, по ночам?

Э.К. Привыкли... Но, конечно, это совсем другое Переделкино. Дело не только в том, что появились так называемые новые русские, вообще к литературе отношения не имеющие. Появились какие-то писатели, о которых я ничего не знаю, — впрочем, ведут они себя так, что заподозрить в них писателей довольно трудно. Дух этих мест вообще ушел, исчез. Хотя, кстати, у Катаева здесь никогда не было много друзей. Он был довольно одинок в литературе, как и его учитель Бунин.

Кстати, Бунина он называл своим учителем с полным правом — Симонов привез от него в сорок шестом году «Лику» с надписью, подтверждающей, что он следил за Катаевым внимательнейшим образом. А в конце пятидесятых мы посетили Веру Николаевну, вдову Бунина, — были у нее в гостях в Париже, и я видела, как она обняла Валу... Она была вся заплаканная. Купила меренги, которые он обожал, — помнила даже это! И встретила его так ласково... И даже знала, что я — Эста, сразу назвала по имени! Она рассказывала: Бунин читал «Парус» вслух, восклицая — ну кто еще так может?! Но вот в одно он никогда не мог поверить: что у Вали Катаева — дети. Как это у Вали, молодого Вали, — может быть двое взрослых детей? Муж попросил показать любимую пепельницу Бунина в виде чашечки — она принесла ее и хотела Вале подарить, но он сказал, что не смеет ее взять. «Ладно, — сказала Вера Николаевна, — тогда ее положат со мною в



«Когда мы познакомились, он был необыкновенно рыцарственным и галантным»

гроб».

— Господи, почему же он отказался!

— Не мог взять. Бунин был для него величина недостижимая.

— Скажите, а Катаев действительно встретился тогда в Париже с бывшим приятелем и бывшим белогвардейцем, бежавшим от одесской ЧК? И была ли у него эта романтическая любовь к девушке из совпартшколы, которая этого офицера выдала?

— Такая история была, и в «Траве забвения», и в «Вертере» она описана довольно точно. Речь шла о сыне одесского поэта Федорова, он действительно был белогвардейцем, и его выдала возлюбленная. Эту девушку Катаев, конечно, очень романтизировал, она вовсе не была той комсомольской богиней, которая у него описана. Этот офицер действительно бежал, выпрыгнув из машины, когда его везли на очередной допрос, — но оказался потом не во Франции, а в Румынии. «Вертер», где эта история рассказана наиболее

подробно и страшно, был напечатан чудом — понадобилось редакционное предисловие... Главный редактор «Нового мира» Наровчатов сказал, что готов положить партбилет за публикацию этой повести. И — добился: она появилась в его журнале.

Машину никогда не водил. Зато плавать любил

— Катаева часто упрекали в вещизме, в преклонении перед хорошими вещами, в какой-то физиологической радости, которая переполняет описания хорошей одежды и еды в его книгах. В жизни было что-нибудь подобное?

Э.К. О да, отец любил хорошие вещи. Обожа! Но это была любовь не к пиджаку или галстуку, а к чужому мастерству, к удивительному творению человеческих рук. В нем не было барского снобизма, но хорошо скроенный

разбирался)... Но вообще людей, которым бы он радовался, с годами становилось все меньше.

Э.К. В последние годы я могла бы назвать только редактора его десятилетника Олю Новикову. Вот во время ее приездов он всегда оживал, загорался, — остальные гости его почти не интересовали.

— Катаев почти все время жил в Переделкино, но не мог же он не бывать в Москве! Сам водил машину?

— Никогда. Он любил ходить, отлично плавать — мог плавать километрами, а вождение его никогда не интересовало. Во времена журнала был шофер, и потом — хорошо вожу машину я. Мой первый синенький «Фордик» в подарок по случаю рождения дочери привез из Америки Женя Катаев — Евгений Петров. Я никогда не видела такой привязанности между братьями, как у Вали с Женей. Собственно, Валя и заставил брата писать. Каждое утро он начинал со звонка ему — Женя вставал поздно, принимался ругаться, что его разбудили... «Ладно, ругайся дальше», — говорил Валя и вешал трубку.

Впрочем, Ильф — Илья Файнзильберг — бывал у нас не реже Жени и очень любил Валу, слушался его советов... Уже тяжелобольной, продолжал появляться у нас. Его могло спасти лечение в Давосе, но — не выпустили. Их вообще как писателей уничтожили, Женя в последние годы писал только сценарии и фельетоны, все это — без вдохновения. Он разбился в первом самолете, вылетевшем из осажденного Севастополя: самолет упал под Ростовом. Жертв было немного, большинство пассажиров остались в живых.

Э.К. Брат и мать — вот были две главные раны отца, он всю жизнь прожил с этими людьми и ощущал с ними какую-то особую связь. Уже в больнице — кажется, в мое последнее посещение, когда у него уже было воспаление легких, — он сказал: «Я повторяю судьбу мамы». Она тоже умерла от воспаления легких, почти сразу после родов второго сына. Но главное — отец сказал: «Я знаю теперь, что такое смерть, и обязательно должен это написать. Я не боюсь ее больше. Если бы вы знали, какая там прекрасная музыка!»

Э.К. Мы прожили вместе пятьдесят пять лет. Конечно, он не ушел и не мог уйти из моей жизни. Он остается моим солнцем, лучшим человеком, которого я видела.

Дмитрий БЫКОВ.



В Переделкино с сыном Павлом и дочерью Евгенией